

Достоевский Федор Михайлович Черт. Кошмар Ивана Федоровича

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича. читателю. Забегая вперед, скажу лишь одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать предположение, что действительно, может быть, ужасным напряжением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оправдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройства в мозгу, и несколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением, однако, сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, – решил доктор, – хотя надо бы их и проверить... вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо». Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь – дело другое, тогда пусть лечит кто хочет», – решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреде, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui faisait la cinquantaine», как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа, всё было так, как и у всех шикаватых джентльменов, но белье, если взглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить,

равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно, выдавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что всё же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, – обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смиренно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

– Послушай, – начал он Ивану Федоровичу, – ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел ничего об ней не узнав, верно забыл...

– Ах да! – вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой, – да, я забыл... Впрочем, теперь всё равно, всё до завтра, – пробормотал он про себя.
– А ты, – раздражительно обратился он к гостю, – это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

– А не верь, – ласково усмехнулся джентльмен. – Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать реалист, а не материалист, хе-хе!»

– Слушай, – встал вдруг из-за стола Иван Федорович. – Я теперь точно в бреду... и, уж конечно, в бреду... ври что хочешь, мне всё равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно... Я хочу ходить по комнате... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.

Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.

– Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты, – начал было гость.

– Дурак, – засмеялся Иван, – что ж я вы, что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!

– *C'est charmant*, приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз...

– Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, – как-то яростно даже вскричал Иван. – Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно протерпеть. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем,

моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться...

– Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от него узнал! Почему ты узнал, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, – мягко засмеялся джентльмен.

– Да, это была слабость природы... но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву...

– А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.

– Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! – опять засмеялся Иван.

– Бранишься, а сам смеешься – хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение...

– Молчи про решение! – свирепо вскричал Иван.

– Понимаю, понимаю, *c'est noble, c'est charmant*, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву... *c'est chevaleresque*.

– Молчи, я тебе пинков надаю!

– Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь всё равно, бранись, коли хочешь, но всё же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!

– Браня тебя, себя браню! – опять засмеялся Иван, – ты – я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

– Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, – с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.

– Только всё скверные мои мысли берешь, а главное – глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать!
– проскрежетал Иван.

– Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, – в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. – Я беден, но... не скажу, что очень честен, но... обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно – о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас всё очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен – не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это – воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал – войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил – если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, – помолчал немного джентльмен. – Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору... ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?

– Дурак! – отрезал Иван.

– Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли...

– Дурак, – повторил опять Иван.

– Ты всё свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

– У черта ревматизм?

– Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.

– Как, как? Сатана sum et nihil humanum... это неглупо для черта!

– Рад, что наконец угодил.

– А ведь это ты взял не у меня, – остановился вдруг Иван как бы пораженный,
– это мне никогда в голову не приходило, это странно...

– C'est du nouveau n'est ce pas? На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такую интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар, и больше ничего.

– Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон.

– Друг мой, сегодня я взял особую методу, я потом тебе растолкую. Пстой, где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там...

– Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? – почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрое полотенце и с досадой отбросил его: очевидно, не помогало.

– У тебя расстроены нервы, – заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом, – ты сердисься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще бог знает где, и, чтобы попасть к вам на землю,

предстояло еще перелететь пространство... конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, я же бе над твердию, – ведь это такой мороз... то есть какое мороз – это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор...

– А там может случиться топор? – рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

– Топор? – переспросил гость в удивлении.

– Ну да, что станется там с топором? – с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

– Что станется в пространстве с топором? *Quelle idée!* Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и всё.

– Ты глуп, ты ужасно глуп! – строптиво сказал Иван, – ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты ешь, но я не хочу верить, что ты ешь! Не поверю!!

– Да я и не вру, всё правда; к сожалению, правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу.

– Не философствуй, осел!

– Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу? Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам:

мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболел у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я, единственно чтобы только в баню лишней раз сходить, пошел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Маттеи в Милан написал; прислал книгу и капли, бог с ним. И вообрази: мальц-экстракт Гоффа помог! Купил нечаянно, выпил полторы стюклянки, и хоть танцевать, всё как рукой сняло. Непременно положил ему «спасибо» в газетах напечатать, чувство благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая история пошла: ни в одной-то редакции не принимают! «Ретроградно очень будет, говорят, никто не поверит, le diable n'existe point. Вы, советуют, напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», если анонимно. Смеюсь с конторщиками: «Это в бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». – «Понимаем, говорят, кто же в черта не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства мои, как например благодарность, мне формально запрещены единственно социальным моим положением.

– Опять в философию въехал! – ненавистно проскрежетал Иван.

– Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже разные водевильчики». Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во всё это не ввязываюсь, не я сотворил, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто

требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... всё же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие – всё обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а всё же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец, как и назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься, ты опять сердишься. Ты вечно сердишься, тебе бы всё только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить.

– Уж и ты в бога не веришь? – ненавистно усмехнулся Иван.

– То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...

– Есть бог или нет? – опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван.

– А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал.

– Не знаешь, а бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты – я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

– То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана – всё это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего до временно и единолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас дратья вскочишь.

– Лучше бы ты какой анекдот! – болезненно проговорил Иван.

– Анекдот есть и именно на нашу тему, то есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: «видишь-де, а не веришь». Но, друг мой, ведь не я же один таков, у нас там все теперь помутились, и всё от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда всё кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы

там открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще – так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное – суеверие, сплетни; сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а, наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные «сведения». Так вот эта дикая легенда, еще средних наших веков – не ваших, а наших – и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Всё, что у вас есть, – есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, «всё отвергал, законы, совесть, веру», а главное – будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним – будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и всё простят...

– А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? – с каким-то странным оживлением прервал Иван.

– Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне всё больше нравственные пошли, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». Ну и кто же выиграл, выиграла одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь... То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, – один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!» Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, – вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

– На чем же он там улегся?

– Ну, там, верно, было на чем. Ты не смеешься?

– Молодец! – крикнул Иван, всё в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. – Ну что ж, и теперь лежит?

– То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

– Вот осел-то! – воскликнул Иван, нервно захохотав, всё как бы что-то усиленно соображая. – Не всё ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это биллион лет ходу?

– Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.

– Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?

– Да ведь ты думаешь всё про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля – ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и всё в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...

– Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

– А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд – и это по часам, по часам (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в кармане дорогой), – не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел «осанну», да и пересолил, так что иные там, с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах: слишком-де уж стремительно в консерваторы перескочил. Русская натура. Повторяю: легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят.

– Я тебя поймал! – вскричал Иван с какою-то почти детскою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив, – этот анекдот о квадриллионе лет – это я сам сочинил! Мне было тогда семнадцать лет, я был в гимназии... я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, это было в Москве... Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл... но он мне припомнился теперь бессознательно – мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут... во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон! Ты сон и не существуешь!

– По азарту, с каким ты отвергаешь меня, – засмеялся джентльмен, – я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

– Нимало! На сотую долю не верю!

– Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десятитысячную...

– Ни одной минуты! – яростно вскричал Иван. – Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! – странно вдруг прибавил он.

– Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.

– Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты ешь.

– Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб – да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы пустынные и в жены непорочны» пожелаешь вступить; ибо тебе очень, очень того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься!

– Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

– Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!

– Шут! А искушал ты когда-нибудь вот таких-то, вот что акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыне молятся, мохом обросли?

– Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному такому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия – у нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна! А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия

могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок – и полетит человек «вверх тормашки», как говорит актер Горбунов.

– Ну и что ж, отходил с носом?

– Друг мой, – заметил сентенциозно гость, – с носом всё же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу-иезуиту Я присутствовал – просто прелесть. «Возвратите мне, говорит, мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, – виляет патер, – по неисповедимым судьбам провидения всё восполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом». – «Отец святой, это не утешение! – восклицает отчаянный, – я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» – «Сын мой, – вздыхает патер, – всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым всё же как бы остались с носом...»

– Фу, как глупо! – крикнул Иван.

– Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, это настоящая иезуитская казуистика, и, клянусь, всё эго случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился; я был при нем неотлучно до последнего момента... Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура – слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. «Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.. – восклицает патер. – O Sancta Maria, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!» – «Ah mon père, – отвечает грешница, вся в покаянных слезах. – Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!» Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание, а ведь старик – кремень, и

вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротишь нос, опять сердиться? Не знаю уж, чем и угодить тебе...

– Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар, – болезненно простонал Иван, в бессилии пред своим видением, – мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

– Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня «всего великого и прекрасного» и увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, – внушительно проговорил джентльмен. – Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт? Нет, в тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что делать, молодой человек. Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса. И всё ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и всё мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: «Осанна!» Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл – о, самое несчастное свойство моей природы – удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, – подумал я в ту же минуту, – что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы всё угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь,

должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рывкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и скрепя сердце исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо была погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище... Ты заснул?

– Еще бы, – злобно простонал Иван, – всё, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль, – ты мне же подносишь как какую-то новость!

– Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить: эта «осанна»-то в небе, право, недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастический тон à la Гейне, а, не правда ли?

– Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?

– Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского барчонка: молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает, под названием: «Великий инквизитор»... Я его только и имел в виду!

– Я тебе запрещаю говорить о «Великом инквизиторе», – воскликнул Иван, весь покраснев от стыда.

– Ну, а «Геологический-то переворот»? Помнишь? Вот это так уж поэмка!

– Молчи, или я убью тебя!

– Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, – решил ты еще прошлую весной, сюда собираясь, – они полагают разрушить всё и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о боге, вот с чего

надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать – о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот период – параллель геологическим периодам – совершится), то само собою, без антропофагии, падет всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совоюются, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило! Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

– Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то всё решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона! Где станет бог – там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «всё дозволено», и шабаш! Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора.

– Ah, mais c'est bête enfin! – воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, – вспомнил Лютерову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал...

В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.

– Слышишь, лучше отвори, – вскричал гость, – это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!

– Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал, и, уж конечно, он недаром, конечно с «известием»!.. – воскликнул испуганно Иван.

– Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors...

Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну; но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Из всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечи почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял перед ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

– Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это всё сейчас было! – вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку...